

ПЕРРИ АНДЕРСОН
ПЕРЕХОДЫ
ОТ АНТИЧНОСТИ
К ФЕОДАЛИЗМУ



ТЕРРИТОРИЯ БУДУЩЕГО

Перри Андерсон

Переходы от античности к феодализму

текст предоставлен издательством «Территория будущего»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2884555

*Перри Андерсон. Переходы от античности к феодализму: Территория
будущего; Москва; 2007*

ISBN 5-91129-045-6

Аннотация

«Работа Андерсона и сегодня считается непревзойденной по ее основному замыслу и охвату – выявить политэкономические структуры Античности и проследить их конфликтную динамику от возникновения полисной общины через три имперских цикла (афинский, эллинистический, римский) через Темные века до начала Средневековья. Читать Перри Андерсона по-русски надо не из превратной ностальгии по истмату, а именно для того, чтобы понять, какие варианты истмата у нас не могли получить развития в те самые подавленно-застойные семидесятые, за которые мы продолжаем расплачиваться и сегодня. А можно и даже лучше читать просто потому, что редко кто так емко и пронизательно объяснял, что за материальные силы вознесли эту удивительную античность, какое отношение к ней имели германцы и кельты,

либо славяне и кочевой мир степняков...» Под редакцией Д. Е. Фурмана.

Содержание

Политэкономия античного Запада	5
Предисловие	12
Благодарности	18
Часть первая	24
I. Классическая античность	24
1. Рабовладельческий способ производства	24
2. Греция	43
Конец ознакомительного фрагмента.	63

Перри Андерсон

Переходы от античности к феодализму

Политэкономия античного Запада

В середине 1950-х гг. в Оксфорд поступают два впоследствии знаменитых брата, Перри и Бенедикт Андерсоны. Сыновья крупного колониального чиновника, родившиеся в Китае накануне Второй мировой войны, они принадлежали к поколению британской аристократии, которому не было суждено повторить имперскую карьеру своих предков. Тем не менее в Оксфорде они получают классическое образование британского джентльмена, который, как известно, «не столько знал латынь и древнегреческий, сколько уже их позабыл».

Исторический фон, настроения, и интеллектуальная энергетика той эпохи столь разительно отличались от нашего времени, что сегодня трудно представить, как отпрыски аристократических семейств бурно отвергали веру и сам здравый смысл (*common sense*) своих предков. С одной стороны, катастрофически быстро рушилась колониальная империя, а в самой Британии власть оказалась в руках тогда

совершенно социал-демократических лейбористов, предотвращавших угрозу новой депрессии путем национализации промышленности, кейнсианской регуляции рынков, и создания широкой системы социального перераспределения. С другой стороны, хрущевское разоблачение сталинизма и восстания 1956 г. в социалистических Венгрии и Польше дискредитировали коммунистическую ортодоксию. Ну, и конечно «Битлз», «Пинк Флойд», пародийные телеперформансы «Монти Питонвцев». Перестав быть столицей империи, Лондон тогда становится центром молодежного творчества.

Считается, что именно Перри Андерсон изобрел название Новые Левые, которым тогда обозначалось поколение молодой критической интеллигенции, не согласной ни с экономическим тредюнионизмом западной социал-демократии, ни с квазицерковной ортодоксальностью компартий. Сам Перри, впрочем, избегал вступать в тогда модные левацкие группировки. Напротив, в маоистско-троцкистских сектах начинали многие из его оппонентов, вроде будущих французских постмодернистов и Новых философов или ныне влиятельного вашингтонского неоконсерватора Кристофера Хитчинса, который с сожалением признает, что «застряв на неверной стороне истории, Андерсон остается самым глубоким интеллектуальным эссеистом англоязычного мира».

Вместо улично-студенческой политики, Андерсона более привлекал проект реконструкции аналитического потенциа-

ла марксизма, для чего требовалось восстановить линии интеллектуального развития, подавленные в межвоенный период марксистско-ленинской догматикой. Так были заново прочитаны Роза Люксембург, Антонио Грамши, Дьердь Лукач, Вальтер Беньямин, Франкфуртская школа и, конечно, знаменитые черновики самого Маркса.

Западный неомарксизм развивался в дебатах с европейской культурологией и политической философией, но особенно с неовеберизмом, которое параллельно стремилось преодолеть собственную ортодоксию, установленную некогда мощной школой Талкотта Парсонса. К этому поколению историко-социологических аналитиков принадлежат, скажем, Антони Гидденс и Майкл Манн, начинавшие в лондонском кружке Эрнста Геллнера. В Западной Германии основным интеллектуальным контрпартнером Андерсона был и остается Юрген Хабермас, предпринявший обновленческий синтез немецкой философской традиции, восходящей к Гегелю. Во Франции такой фигурой стал в первую очередь Пьер Бурдьё, один из друзей Андерсона, восстановивший и серьезно достроивший интеллектуальную традицию Дюркгейма и Мосса, а также Норберта Элиаса и Карла Маннгейма. В Америке к той же когорте принадлежат такие разные теоретики как Иммануил Валлерстайн, Чарльз Тилли, Рэндалл Коллинз, Ричард Лахманн, Джек Голдстоун и Теда Скочпол. Андерсон дал едва ли не главный побудительный толчок грандиозной работе итальянца Джованни Арриги, со-

единившего грамшианскую теорию гегемонии с экономическим циклизмом Шумпетера и мирсистемной перспективой Фернана Броделя. Наконец, будущий лауреат Нобелевской премии по экономике Дуглас Норт в своем исследовании исторических истоков роста экономики Запады внутренне полемизировал и отталкивался в значительной степени от неомарксистской интерпретации кризиса феодализма в ее наиболее полном варианте Перри Андерсона.

Как нередко случается в интеллектуальных полях в периоды бурного развития, «Переходы от античности к феодализму» были написаны очень быстро, всего за несколько месяцев, с огромной полемической энергией и даже вопреки ожиданиям самого автора. Первоначально это эссе, разросшееся до отдельной книги, планировалось как вводная часть основной работы, опубликованной тогда же, в 1974 г., под заголовком «Родословные абсолютистского государства». ¹ Молодой Перри Андерсон (в момент написания этих книг ему было 35 лет) преднамеренно в открытую использует здесь марксистский аппарат, впрочем, настаивая, что исторический материализм был бы более верным и справедливым названием для его научного подхода, нежели нагруженный политическими и культовыми коннотациями марксизм. Вооруженный знанием греческого, латыни и основных современных

¹ Perry Anderson, *Lineages of the Absolutist State*. London: New Left Books, 1974. Русский перевод планируется выпустить в серии «Университетская библиотека Александра Погорельского» в конце 2008 г.

европейских языков (кстати, русскому его учил еще в детстве эмигрант князь Ливен), с интеллектуальной бравурой и классической оксфордской эрудицией, Андерсон берется заново объяснить самое святое – первоисточки Западной цивилизации. Посвягает он при этом на всю традицию, восходящую к Гиббону и освященную не менее как главным символом веры современного Запада, т. е. чувством собственного превосходства в качестве единственного и прямого наследника античной идеи свободы.

Досадно, что этот всплеск иконоборческой энергии едва ли мог докатиться до советской интеллектуальной аудитории. В те времена работы Андерсона проникали к нам единичными экземплярами и содержались в спецхране как западный «ревизионизм». Еще более досадно, что сегодня эта работа может отпугнуть читателя именно своим демонстративным марксизмом. Конечно, можно просто сказать, что по сей день работы Перри Андерсона (прежде всего «Родословные абсолютистского государства») стоят в списках обязательной для аспирантов литературы ведущих отделений социологии и политологии Запада. Регулярно преподаю их и я в Чикаго. И все-таки, раз уж мы ученые, недавно я устроил небольшой эксперимент, опросив полтора десятка известных специалистов-античников в США, Великобритании, и Франции. При этом ни один из них не является марксистом. Опрос показал, что работа Андерсона и сегодня считается непревзойденной по ее основному замыслу и охвату – вы-

явить политэкономические структуры Античности и проследить их конфликтную динамику от возникновения полисной общины через три имперских цикла (афинский, эллинистический, римский) через Темные века до начала Средневековья.

Спору нет, работа Андерсона оставляет в стороне множество сюжетов, позднее переместившихся в фокус исследовательского внимания: семиотику античной демократии, гендерные отношения и сексуальность, экологию, которую по новейшим реконструкциям римская экономика разорила не хуже современной. Андерсона интересовали совсем другие вопросы – характер политической власти в античности, факторы разделения римского наследия на западную и восточную ветви и причины социально-экономического динамизма феодального Запада.

На эти вопросы Перри Андерсон дал варианты ответов, которые открыли совершенно новые подходы к классическим сюжетам. Неовеберянцы Майкл Манн и Рэндалл Коллинз впоследствии показали, каждый по-своему, альтернативные варианты анализа античной динамики. Джек Голдстоун сформулировал свою, весьма элегантную модель демографического кризиса элит. Но это не были опровержения теории Перри Андерсона, а именно попытки расширить, достроить и укрепить теоретический прорыв, который был первоначально совершен с позиций западной неомарксистской парадигмы. Читать Перри Андерсона по-русски надо

не из превратной ностальгии по истмату, а именно для того, чтобы понять, какие варианты истмата у нас не могли получить развития в те самые подавленно-застойные семидесятые, за которые мы продолжаем расплачиваться и сегодня. А можно и даже лучше читать просто потому, что редко кто так емко и проницательно объяснял, что за материальные силы вознесли эту удивительную античность, какое отношение к ней имели германцы и кельты, либо славяне и кочевой мир степняков. Право, куда полезней поэтического фантазирования о духе цивилизаций.

Георгий Дерлугьян, профессор социологии Чикаго, октябрь 2007 г.

Предисловие

Нужно сказать несколько слов, чтобы пояснить охват и цель этой работы. Она задумывалась в качестве пролога к более объемному исследованию, которое по своему предмету непосредственно продолжает ее: «Родословные абсолютистского государства». Эти две книги непосредственно взаимосвязаны друг с другом и в конечном итоге выражают одну и ту же мысль. Связь между античностью и феодализмом, с одной стороны, и абсолютизмом – с другой, с перспективы большинства работ, посвященных их рассмотрению, сразу не очевидна. Как правило, античную историю от истории Средневековья отделяет профессиональная пропасть, попытки преодоления которой предпринимаются лишь в очень немногих современных работах. Разрыв между ними институционально закреплен и в преподавании, и в исследовательской деятельности. Дистанция между средневековой историей и историей раннего Нового времени в исторической науке куда менее значительна (естественно или парадоксально?), но все же обычно она достаточна, чтобы исключить всякое рассмотрение феодализма и абсолютизма как бы в едином фокусе. Основная идея этих двух взаимосвязанных исследований состоит в том, что, напротив, в некоторых важных отношениях именно так, в едином фокусе и нужно рассматривать эти сменявшие друг друга соци-

альные формы. В настоящей работе рассматривается социальный и политический мир классической античности, природа перехода от него к средневековому миру и возникшая в результате структура и эволюция феодализма в Европе; при этом региональные различия – и в Средиземноморье, и в Европе – неизменно составляют основную тему книги. В ее продолжении абсолютизм рассматривается на фоне феодализма и античности в качестве их законного политического наследника. Причины того, почему сравнительное исследование абсолютистского государства понадобилось предварить экскурсом в классическую античность и феодализм, станут понятными из второй работы и будут вкратце изложены в ее выводах. В них предпринимается попытка поместить своеобразие европейского опыта и в более широкий международный контекст.

Но в начале нужно подчеркнуть ограниченность и условность положений, представленных в обеих работах. В них нет познаний и мастерства профессионального историка. Историческое сочинение в собственном смысле слова неотделимо от непосредственного исследования оригинальных источников прошлого – архивных, эпиграфических или археологических. Данные исследования не притязают на такое высокое звание. Вместо действительного изучения истории в первоисточниках они опираются просто на прочтение доступных работ современных историков, а это – совсем другое дело. Поэтому сопутствующий справочно-библиографи-

ческий аппарат совершенно отличается от того, который характерен для работ академических историков. Настоящий историк-профессионал не станет ссылаться на них – через него говорят сами источники, непосредственное свидетельство прошлого. Тип и объем примечаний, которые подкрепляют текст в обеих этих работах, просто указывают на вторичный уровень, на котором они находятся. Сами историки, конечно, иногда создают сравнительные или синтетические работы, не всегда будучи хорошо знакомыми со всеми источниками в соответствующих областях, хотя их суждения, скорее всего, в силу владения ими своей специальностью будут менее категоричными. Сама по себе попытка описания или осмысления широких исторических структур или эпох не нуждается в особом извинении или оправдании – без таких попыток специальные и локальные исследования не могут раскрыть свой потенциал. Но все же верно, что больше всего ошибаются те интерпретации, которые полагаются как на свои основные источники на выводы, сделанные другими, ибо они могут оказаться несостоятельными в свете новых открытий или в результате дальнейшей работы над имеющимся материалом. То, что является общепринятым для историков одного поколения, всегда может быть опровергнуто исследованиями другого. Всякая попытка обобщения на основе существующих мнений, при всей научности последних, неизбежно оказывается сомнительной и условной. В этом отношении недостатки предлагаемых читателю работ

особенно велики из-за большого периода времени, охватываемого ими. Естественно, что чем шире период рассматриваемой истории, тем более сжатым оказывается рассмотрение ее отдельных этапов. Поэтому прошлое во всей своей сложности, которая может быть отображена только на богатом холсте, написанном историком, во многом остается за рамками этих исследований. Нижеследующий анализ, вследствие и недостаточной компетентности автора, и объема рассматриваемых проблем, представляет собой всего лишь гипотетическую схему. Будучи чем-то вроде наброска возможной истории, эти исследования призваны предложить основу для дискуссии, а не завершённое или всестороннее изложение.

Дискуссия, вызвать которую является их целью, это, прежде всего, дискуссия в рамках исторического материализма. Цели метода, избранного автором при применении марксизма в данных работах изложены в предисловии к «Родословным абсолютистского государства», где они наиболее зримо отразились и в формальной структуре работы. Здесь же можно ограничиться изложением принципов, которыми определялось использование источников в обоих исследованиях. Источники, привлеченные для этого обзора, как и во всяком по сути своей сравнительном исследовании, естественно, крайне разнообразны и заметно варьируются по своему интеллектуальному и политическому характеру. Марксистская историография не находится здесь в приви-

легированном положении. Несмотря на перемены, произошедшие в последние десятилетия, подавляющее большинство серьезных исторических исследований в XX веке было написано историками, не имеющими отношения к марксизму. Исторический марксизм – это не завершенная наука, и не все его представители имеют одинаковый вес. Есть области историографии, в которых марксистские исследования преобладают, но есть еще больше областей, в которых немарксистские исследования превосходят марксистские и в качественном, и в количественном отношении, и, возможно, еще больше областей, в которых нет никаких марксистских работ вообще. Единственным допустимым критерием отбора в сравнительном исследовании, который должен использоваться при оценке работ, основанных на таких различных подходах, служит их внутренняя основательность и проницательность. Глубокое знание и уважение к работам историков, не принадлежащих к марксизму, вполне совместимо со строгим проведением марксистского исторического исследования, более того, оно является необходимым условием такого исследования. И наоборот, самим Марксу и Энгельсу никогда нельзя верить на слово; не следует умалчивать или игнорировать ошибки, допущенные в их работах о прошлом, – их нужно распознавать и критиковать. Это не означает отступления от исторического материализма; наоборот, это позволяет войти в него. В рациональном знании, которое по сути своей кумулятивно, нет места фидеизму, и ве-

личие основателей новых наук никогда не служило гарантией от заблуждений или мифов, а эти заблуждения никак не умаляют их величие. И в этом смысле «вольное» обращение с текстами, под которыми стоит подпись Маркса, свидетельствует просто о свободе марксизма.

Благодарности

Я бы хотел выразить признательность Энтони Барнетту, Роберту Браунингу Джудит Эррин, Виктору Кирнену, Тому Нейрну Брайену Пирсу и Гарету Стедмен Джонсу за их критические замечания к этой работе или к ее продолжению. Принимая во внимание характер обоих сочинений, с них больше, чем это было бы нужно в каком-либо ином случае, необходимо снять всякую ответственность за ошибки – фактические или интерпретационные, – которые в них содержатся.

Историки издавна привыкли проводить в Европе границу между Востоком и Западом. Фактически эта традиция восходит к основателю современной позитивистской историографии Леопольду Ранке. Краеугольным камнем первой крупной работы Ранке, написанной в 1824 году, был «Очерк о единстве латинского и германского народов», в котором он провел линию через весь континент, исключив восточных славян из общей судьбы «великих народов» Запада, которая должна была стать главной темой его книги. «Нельзя утверждать, что восточные славяне принадлежат к един-

ству наших народов; их обычаи и нравы никогда не позволяли им быть частью этого единства. В ту эпоху они не обладали самостоятельным влиянием, а, казалось, лишь сопротивлялись или подчинялись чужим; их как бы подхватывали волны общего движения истории».² Только Запад участвовал в переселениях варваров, средневековых крестовых походах и колониальных завоеваниях Нового времени – этих, как писал Ранке, *drei grosse Atemzüge dieses unvergleichlichen Vereins*, «трех глубоких вздохах этого несравненного союза»³. Несколько лет спустя Гегель заметил, что «часть славян приобщилась к западному разуму», поскольку «иногда они как авангард, как народы, находившиеся между двумя враждебными силами, принимали участие в борьбе христианской Европы и нехристианской Азии». Но по сути его представления об истории восточной части континента не слишком отличались от представлений Ранке. «Однако, – писал он, – вся эта масса исключается из нашего обзора потому, что она до сих пор не выступала как самостоятельный момент в последовательном ряду обнаружений разума в мире».⁴ Теперь, по прошествии полутора столетий, современные историки обычно остерегаются таких заявлений. Этнические категории сменились географическими терминами, но само

² Leopold Von Ranke, *Geschichte der Romanischen und Germanischen Völkervon 1494 bis 1514*, Leipzig 1885, p. XIX.

³ Ranke, op. cit., p. XXX.

⁴ Г. В. Ф. Гегель, *Философия истории*, СПб., 2000, с. 368.

это деление – и возведение его к Средневековью – остались практически неизменными. Иными словами, его начинают применять с возникновением феодализма в историческую эпоху, когда классические соотношения между регионами в Римской империи (развитый Восток и отсталый Запад) – впервые начали меняться на прямо противоположные. Такую смену знаков можно наблюдать почти во всех описаниях перехода от античности к Средневековью. Так, объяснения падения империи в новом монументальном исследовании заката античности «Поздней Римской империи» Джонса постоянно вращаются вокруг структурных различий в ней между Востоком и Западом. Восток, с его богатыми и многочисленными городами, развитой экономикой, мелкими землевладельцами, относительной гражданской сплоченностью и географической удаленностью от мест, по которым были нанесены главные удары варваров, выстоял; а Запад, с его не таким многочисленным населением и более слабыми городами, крупной землевладельческой аристократией и измученными поборами крестьянами, его политической анархией и стратегической уязвимостью перед германскими вторжениями, пал.⁵ Конец же античности был отмечен арабскими завоеваниями, разделившими два берега Средиземного моря. Восточная империя стала Византией, политической и социальной системой, отличной от остального европейско-

⁵ А. Н. М. Jones, *The Later Roman Empire, 282–602*, Oxford 1964, Vol. II, p. 1026–1068.

го континента. И в этом новом географическом пространстве, которое появилось в Средние века, полярности между Востоком и Западом суждено было поменять знаки. Блок высказал авторитетное суждение, что «с VIII века в Западной и Центральной Европе существовала четко ограниченная группа обществ, которая, при всех различиях между входящими в нее обществами, прочно скреплялась глубокими сходствами и постоянным взаимодействием между ними». И именно в этой области родилась средневековая Европа: «В Средние века европейская экономика – в том смысле, в котором прилагательное «европейская», заимствованное из старой географической номенклатуры пяти “частей света”, может быть использовано для определения реальной действительности, – была экономикой латинского и германского блока, окруженного несколькими кельтскими островками и славянскими окраинами, постепенно включавшимися в его общую культуру... При таком понимании и определении Европы она представляет собой творение раннего Средневековья».⁶ Блок прямо исключал области, составляющие сегодня Восточную Европу, из своего социального определения континента: «Обширные пространства славянского Востока к нему не принадлежали... Их экономические условия жизни и условия жизни их западных соседей невозможно рассматривать вместе, в качестве одного объекта научного исследования. Их совершенно различные социальные структуры и

⁶ Marc Bloch, *Mélanges Historiques*, Paris 1963, Vol. I, p. 113–114.

совершенно различные пути развития полностью исключают такое смешение: с равным успехом можно было бы в экономической истории XIX столетия объединять Европу и европеизированные страны с Китаем или Персией». ⁷ Последователи Блока со всем вниманием отнеслись к его указаниям. Изучение формирования Европы и зарождения феодализма было в основном ограничено историей западной части континента, тогда как восточная часть выпала из поля зрения. Впечатляющее исследование Дюби, посвященное ранней феодальной экономике и начинающееся с IX века, имеет название «Сельская экономика и деревенская жизнь на средневековом Западе». ⁸ Культурные и политические формы, созданные феодализмом в тот же период, – «тайная революция этих столетий» ⁹ – находятся в центре внимания «Сотворения Средневековья» Саутерна. Но хотя в названии этой работы употребляется широкий термин «Средневековье», на самом деле определенное время отождествляется в ней с определенным пространством – в первом же предложении говорится: «Предмет этой книги – формирование Западной Европы с конца X века до начала XIII века». ¹⁰ Здесь средневековый мир становится Западной Европой *tout court*. Таким

⁷ Bloch, op. cit., p. 124.

⁸ Georges Duby, *L'Economie Rurale et la Vie des Campagnes dans l'Occident Médiéval*, Paris 1962.

⁹ R. W. Southern, *The Making of the Middle Ages*, London 1953, p. 13.

¹⁰ Southern, op. cit., p. 11.

образом, для современной историографии различие между Востоком и Западом присутствует с самого начала постклассической эпохи. Его возникновение совпадает с возникновением самого феодализма. Поэтому всякое марксистское исследование различий в историческом развитии на континенте должно начинаться с рассмотрения общей матрицы европейского феодализма. Только после этого можно будет увидеть, насколько и в чем именно различалась история в его западных и восточных областях.

Часть первая

I. Классическая античность

1. Рабовладельческий способ производства

Зарождение капитализма, после того как ему были посвящены знаменитые главы «Капитала» Маркса, было предметом многочисленных исследований, вдохновленных историческим материализмом. Генезис феодализма, напротив, в рамках этой традиции во многом остался неизученным: как особый *тип перехода* к новому способу производства он никогда не входил в общий корпус марксистской теории. Тем не менее, как мы увидим, его значение для понимания законов исторического развития, быть может, не меньше значения перехода к капитализму. И, как это ни парадоксально, сегодня, возможно, впервые известное суждение Гиббона по поводу падения Рима и конца античности оказывается в полной мере истинным: «переворот, который останется памятным навсегда и... до сих пор отзывается на всех на-

родах земного шара».¹¹ В отличие от «кумулятивного» характера прихода капитализма, генезис феодализма в Европе восходит к одновременному и взаимосвязанному «катастрофическому» краху двух различных предшествующих способов производства. Начало феодальному синтезу в собственном смысле слова, всегда сохранявшему свой гибридный характер, дала именно *рекомбинация* разных элементов. Этими двумя предшественниками феодального способа производства были, конечно, разложившийся рабовладельческий способ производства, на основе которого некогда было возведено все огромное здание Римской империи, и расширенные и деформированные первобытные способы производства германских завоевателей, которые сохранялись на их новой родине после варварских завоеваний. Эти два глубоко различных мира в последние столетия античной эпохи пережили медленный распад и постепенное взаимопроникновение.

Чтобы понять, как это произошло, необходимо сначала рассмотреть исходную матрицу всей цивилизации классического мира. Греко-римская античность всегда была миром,

¹¹ Э. Гиббон, *История упадка и разрушения Римской империи*, М., 1995, с. 17. Гиббон в рукописном примечании к планировавшемуся переизданию этой книги, высказал сожаление по поводу данного высказывания, ограничив его значение только европейскими странами. «Помнят ли о Римской империи Азия и Африка, от Японии до Марокко, и испытывают ли они какие-либо чувства по этому поводу?», – вопрошал он. Он писал слишком рано для того, чтобы увидеть, как остальной мир действительно «испытал» на себе влияние Европы и последствия описанного им «переворота». Ни далекая Япония, ни близкое Марокко не остались незатронутыми историей, о начале которой он возвестил.

в центре которого находились города. Величие и прочность раннего греческого полиса и более поздней римской республики, вызывавшие восхищение у многих последующих эпох, отражали расцвет городов-государств и культуры, которому не было равных на протяжении всего последующего тысячелетия. Философия, наука, поэзия, архитектура, скульптура, право, управление, деньги, налоги, избирательное право, публичные споры, военная служба – все это возникло или развилось до небывалой силы и сложности. И все же этот фриз городской цивилизации всегда создавал для последующих поколений эффект фасада-обманки. За этими городскими культурой и политией не стояло никакой сопоставимой с ними городской *экономики*: напротив, материальное богатство, которое поддерживало их интеллектуальную и гражданскую жизнеспособность, изымалось главным образом из сельской местности. В количественном отношении классический мир был в основном и почти всегда сельским. Сельское хозяйство на протяжении всей его истории оставалось безраздельно господствующей областью производства, неизменно обеспечивая основное богатство городов. Греко-римские города в большинстве своем никогда не были сообществами производителей, торговцев или ремесленников: они изначально и в принципе состояли из множества живущих в них землевладельцев. В устройстве всех городов – от демократических Афин до олигархической Спарты или сенаторского Рима – преобладали в основном собственники

сельскохозяйственных земель. Свой доход они получали от зерна, масла и вина – трех важнейших товаров античности, производимых в имениях и хозяйствах за пределами города. Производство в нем самом оставалось незначительным и зачаточным: спектр обычных городских товаров никогда не простирался дальше тканей, глиняной посуды, мебели и изделий из стекла. Техника была простой, спрос – ограниченным, а транспорт – непомерно дорогим. В результате, производство в эпоху античности развивалось не благодаря росту концентрации, как в более поздние эпохи, а благодаря рассредоточению и рассеянию, поскольку относительные издержки производства определялись скорее расстояниями, чем разделением труда. Наглядным свидетельством относительного веса сельских и городских экономик в классическом мире служат соответствующие доходы казны, получавшиеся в Римской империи в IV веке н. э., когда городская торговля, наконец, стала облагаться имперскими налогами после *collatio lustralis* Константина: налоговые поступления от городов никогда не превышали 5 % поступлений от поземельного налога.¹²

Естественно, статистического распределения производ-

¹² А. Н. М. Jones, *The Later Roman Empire*, Vol. I p. 465. Налог выплачивался «негоциаторами», то есть практически всеми, кто имел дело с каким-либо рыночным производством в городах, включая и купцов, и ремесленников. Несмотря на ничтожность поступлений от них, такие налоги оказались особенно тягостными и непопулярными среди городского населения – настолько хрупкой была городская экономика в собственном смысле слова.

ства в этих двух секторах недостаточно для того, чтобы отказывать античным городам в экономической значимости. В почти полностью сельскохозяйственном мире валовая прибыль от городской торговли могла быть незначительной, но совокупное превосходство, которое она давала данной сельскохозяйственной экономике над другими, все же могло иметь решающее значение. Важной предпосылкой этой специфической характеристики классической цивилизации был ее *прибрежный* характер.¹³ Греко-римская античность была средиземноморской по самой своей структуре. Ибо вести торговлю, объединявшую ее в единое целое, можно было только по воде – морской транспорт был единственным подходящим средством обмена товарами на средние или большие расстояния. Колоссальную важность моря для торговли можно оценить по тому простому факту, что в эпоху Диоклетиана пшеницу было проще доставить по морю из Сирии в Испанию – с одного конца Средиземного моря в другой, – чем провезти ее по земле 75 миль.¹⁴ Поэтому не случайно, что Эгейской зоне – лабиринту островов, гаваней и мысов – суждено было стать первым пристанищем городов-государств; что Афины – классический образец такого города –

¹³ Макс Вебер был первым ученым, который сделал акцент на этом фундаментальном факте в своих двух великих, но забытых исследованиях: М. Вебер, *Аграрная история Древнего мира*, М., 2001, с. 98 и далее; М. Вебер, 'Социальные причины падения античной культуры' // М. Вебер, *Избранное. Образ общества*, М., 1994, с. 449 и далее.

¹⁴ Jones, *The Later Roman Empire*, II, p. 841–842.

основной свой доход получали от мореплавания; что, когда в эллинистическую эпоху греческая колонизация распространилась на Ближний Восток, александрийский порт стал главным городом Египта, первой приморской столицей в его истории; и что в конечном итоге Риму, который был расположен в верхнем течении Тибра, также пришлось стать приморской метрополией. Вода была незаменимым средством сообщения и торговли, которое делало возможными рост городов и развитие сложной городской жизни, существенно опережающей развитие сельских внутренних областей. Поразительный блеск античности был достигнут благодаря морю. Своеобразное сочетание города и деревни, определявшее классический мир, в конечном итоге сложилось благодаря наличию в центре него огромного водоема. Средиземное море – это единственное крупное внутреннее море на поверхности Земли: только оно создавало возможность быстрых морских перевозок и предоставляло прибрежные убежища от ураганов или штормов на большом географическом пространстве. Уникальное место классической античности во всеобщей истории неразрывно связано с этим физическим преимуществом.

Иными словами, Средиземноморье послужило необходимой географической основой для античной цивилизации. Ее историческое содержание и новизна, однако, состоит в социальной основе сложившихся в ней отношений между городом и деревней. Рабовладельческий способ производства

был главным изобретением греко-римского мира, которое стало основной причиной и его расцвета, и его упадка. Необходимо подчеркнуть новизну этого способа производства. Рабство в различных формах существовало по всему древнему Ближнему Востоку (как и позднее в других частях Азии), но оно никогда не было юридически чистым состоянием и зачастую принимало форму долговой кабалы или каторжных работ, просто составляя низшую ступень в аморфной иерархии разных форм и степеней зависимости, которая охватывала практически все общество сверху донизу.¹⁵ И оно не было преобладающим типом изъятия излишков в этих догреческих монархиях – оно было периферийным явлением, в то время как основной рабочей силой были крестьяне. Шумерская, вавилонская, ассирийская и египетская империи – «речные» государства, основанные на интенсивном ирригационном сельском хозяйстве, которое значительно отличалось от менее интенсивного сельского хозяйства на не требующих ирригации почвах в более позднем средиземноморском мире, – не были рабовладельческими экономиками, а в их правовых системах отсутствовало четкое представление о движимом имуществе в виде рабов. Именно греческие города-государства впервые сделали рабство «чистым» и преобладающим, превратив его тем самым из вспомогательного средства в систематический способ производства. Классиче-

¹⁵ M. I. Finley, 'Between Slavery and Freedom', *Comparative Studies In Society and History*, VI, 1963–1964, p. 237–238.

ский греческий мир, конечно, никогда не покоился исключительно на использовании труда рабов. Свободные крестьяне, зависимые арендаторы и городские ремесленники всегда в различных комбинациях в различных городах-государствах Греции сосуществовали с рабами. К тому же соотношение между ними могло существенно меняться от столетия к столетию вследствие собственного внутреннего развития этих городов-государств или под действием внешних факторов: каждая конкретная общественная формация – это всегда специфическое сочетание различных способов производства, и античность здесь не является исключением.¹⁶ Но *преобладающим* способом производства в классической Греции, определявшим сложные сочленения локальных экономик и оставившим свой отпечаток на всей цивилизации городов-государств, было именно рабовладение. Это в рав-

¹⁶ На протяжении всего этого текста термину «общественная формация» будет отдаваться предпочтение перед термином «общество». В марксистском языке использование понятия «общественная формация» призвано подчеркнуть многообразие и гетерогенность способов производства, которые могут сосуществовать во всякой данной исторической и социальной тотальности. Некритическое повторение термина «общество», напротив, очень часто создает представление о внутреннем единстве экономики, политики или культуры в данном историческом ансамбле, когда на самом деле такого простого единства и идентичности не существует. Общественные формации, если не делается никаких специальных оговорок, таким образом, всегда означают здесь конкретные сочетания различных способов производства, организованные при *преобладании* одного из них. Об этом различии см.: Nicos Poulantzas, *Pouvoir Politique et Classes Sociales*, Paris 1968, p. 10–12. Прояснив этот момент, было бы педантизмом полностью избегать употребления привычного термина «общество», и мы не пытаемся этого делать.

ной степени справедливо и для Рима. Древний мир в целом никогда не отличался постоянным и повсеместным преобладанием рабского труда. Но в свои великие *классические* эпохи, когда античная цивилизация достигла своего расцвета – в V–IV веках до н. э. в Греции и со II века до н. э. до I века н. э. в Риме, – рабство было наиболее распространенной формой среди всех трудовых систем. Наивысший расцвет классической городской культуры сопровождался расцветом рабства; а ее упадок в эллинистической Греции или христианском мире сопровождался его закатом.

За неимением сколько-нибудь надежной статистики, невозможно точно определить долю рабского населения на родине рабовладельческого способа производства постархавической Греции. Признанные оценки заметно варьируются, но, по последним оценкам, соотношение рабов и свободных граждан в перикловских Афинах составляло 3:2,¹⁷ преобла-

¹⁷ A. Andrewes, *Greek Society*, London 1967, p. 135. Автор подсчитал, что общее количество рабов в V веке в регионе составляло от 80 до 100 тысяч человек, а число граждан – примерно 45 тысяч. Эта цифра, вероятно, получит более широкое признание по сравнению с более низкими или более высокими оценками. Но всем современным работам по истории античности недостает надежной информации о численности населения и социальных классов. На основании количества зерна, ввозимого в город, Джонсу удалось подсчитать соотношение рабов и граждан в IV веке (1:1), когда произошло сокращение численности населения Афин: Jones, *Athenian Democracy*, Oxford 1957, p. 76–79. С другой стороны, Финли утверждал, что в V – IV веках оно могло составлять 3 или 4:1: Finley, ‘Was Greek Civilization Based on Slave Labour?’, *Historia*, VIII, 1959, p. 58–59. Наиболее полная, хотя и не лишенная недостатков, современная монография, посвященная античному рабству (W. L. Westermann, *The Slave Systems of Greek and*

дание рабов в населении Хиоса, Эгины или Коринфа в определенные времена, вероятно, было еще больше, а в Спарте илоты всегда численно превосходили спартанцев. В IV веке до н. э. Аристотель отмечал как нечто само собой разумеющееся, что «в государствах неизбежно имеется большое число рабов», а Ксенофонт разработал схему возвращения богатства Афинам, по которой они «стали бы приобретать государственных рабов, пока их не оказалось бы по три на каждого афинянина». ¹⁸ В классической Греции рабы, таким образом, впервые стали использоваться в ремесле, производстве и сельском хозяйстве за пределами домохозяйства. В то же время, по мере распространения использования рабства, его *природа* стала абсолютной – оно больше не было одной из многих форм относительной зависимости в последовательном континууме этих форм, а представляло собой состояние полной утраты свободы, которое существовало одновременно с новой и безграничной свободой. Ибо именно формирование четко определенного рабского населения подняло население греческих городов на неведомые доселе высоты сознательной юридической свободы. Греческие свобода и рабство были неотделимы друг от друга – одно было структурным условием другого в диадической системе, которая не имела примера или соответствия в социальных иерархи-

Roman Antiquity, Philadelphia 1955, p. 9), приводит примерно ту же цифру, что и Эндриус и Финли: около 60–80 тысяч рабов в начале Пелопонесской войны.

¹⁸ Аристотель, *Политика*, VII, IV, 4; Ксенофонт, *О доходах*, IV, 17.

ях ближневосточных империй, незнакомых ни с понятием свободного гражданства, ни с понятием рабовладения.¹⁹ Эта глубокая юридическая перемена была социальным и идеологическим коррелятом экономического «чуда», вызванного появлением рабовладельческого способа производства.

Цивилизация классической древности, как мы видели, была основана на аномальном господстве города над деревней в условиях преобладания сельской экономики – полная противоположность раннефеодальному миру, который пришел ей на смену. Условием этого великолепия метрополии при отсутствии городского производства было существование рабского труда в сельской местности: ибо он один мог так радикально освободить землевладельческий класс от его сельского происхождения, что тот смог превратиться в преимущественно городское население, которое продолжало тем не менее получать свое основное богатство от земли. Аристотель выразил возникшую в результате социальной идеологию позднеклассической Греции в своем высказанном им мимоходом замечании: «Если говорить о желательном порядке, то лучше всего, чтобы землепашцы были рабами. Они, однако, не должны принадлежать к одной народности (*homophylon*) и не должны обладать горячим темпераментом; именно при таких условиях они окажутся полезными для работы, и нечего будет опасаться с их стороны

¹⁹ Westermann, *The Slave Systems of Greek and Roman Antiquity*, p. 42–43; Finley, 'Between Slavery and Freedom', p. 236–239.

каких-либо попыток к возмущению».²⁰ Для полностью развитого рабовладельческого производства в римской деревне было характерно даже делегирование руководящих функций надсмотрщикам и управляющим из числа рабов, следившим за трудом других рабов на полях.²¹ Рабовладение, в отличие от феодального манора, позволяло разделить место жительства и источник дохода; прибавочный продукт, который обеспечивал богатство классу собственников, мог извлекаться без его присутствия на земле. Связь между непосредственным сельским производителем и городским присвоителем его продукта не основывалась на обычае и не была опосредована самим земельным наделом (как в более позднем крепостничестве). Напротив, в ее основе лежал, как правило, универсальный коммерческий акт покупки товара, который осуществлялся в городах, где обычно были рынки рабов. Рабский труд классической древности, таким образом, воплощал в себе две противоречивые черты, в единстве которых заключался секрет парадоксального раннего разви-

²⁰ Аристотель, *Политика*, VII, IX, 9.

²¹ Повсеместное распространение рабского труда во времена расцвета Римской республики и принципата привело к парадоксальному выдвиганию определенных категорий рабов на ответственные административные или профессиональные должности, что в свою очередь облегчило освобождение и последующее включение в класс граждан детей квалифицированных вольноотпущенников. Этот процесс был не столько гуманистическим смягчением классического рабства, сколько еще одним показателем глубокой оторванности римского правящего класса от всякого производительного труда вообще, даже в руководящей форме.

тия городов греко-римского мира. С одной стороны, рабство представляло собой самую радикальную деградацию сельского труда – превращение самих людей в инертные средства производства с лишением их всех социальных прав и юридическим приравниванием к вьючным животным – в римском праве сельский раб определялся как *Instrumentum vocale*, говорящий инструмент, недалеко ушедший от скота, считавшегося *Instrumentum semi-vocale*, и простых инструментов, которые были *Instrumentum mutum*. С другой стороны, рабство отражало самую радикальную коммерциализацию труда в городе: сведение всей личности работника к стандартному объекту покупки-продажи на городских рынках. Большинство рабов в классической древности использовалось в сельскохозяйственном труде (так обстояло дело не везде и не всегда, но в целом было именно так), но их сосредоточение, распределение и отправка производились на рыночных площадях городов, которые, конечно, также были местом работы и для многих из них. Рабство, таким образом, было экономическим стержнем, соединявшим город и деревню и обеспечивавшим непомерные богатства *полиса*. Оно поддерживало невольническое сельское хозяйство, которое сделало возможным полный отрыв городского правящего класса от его сельских корней, и способствовало междугородной торговле, которая дополняла такое сельское хозяйство в Средиземноморье. Рабы, помимо других достоинств, в мире, где транспортные ограничения играли определяющую роль

в структуре всей экономики, были чрезвычайно мобильным товаром.²² Их без труда можно было перевозить из одной области в другую; их можно было обучить множеству различных навыков; к тому же во времена избыточного предложения они, будучи альтернативной рабочей силой, позволяли сокращать затраты там, где трудились наемные работники или независимые ремесленники. Богатство и беззаботность имущего городского класса классической древности – прежде всего, Афин и Рима во времена их расцвета – основывались на значительных излишках, извлекавшихся при помощи этой системы труда, которая оказывала решающее влияние на все другие.

Но цена, которую приходилось платить за такое грубое и прибыльное устройство, была высокой. Рабовладельческие производственные отношения накладывали определенные непреодолимые ограничения на античные производительные силы в классическую эпоху. И, прежде всего, они вели к параличу производства как в сельском хозяйстве, так и в промышленности. Конечно, в экономике классической древности были определенные технические улучшения. Каждый способ производства на этапе своего подъема порождает материальный прогресс; и рабовладельческий способ производства достиг определенного прогресса в экономике благодаря своему новому общественному разделению труда. Здесь можно вспомнить распространение более прибыльных

²² Вебер, *Аграрная история Древнего мира*, с. 99–100.

культур для производства вина и масла; внедрение жерновых мельниц для зерна и улучшение качества хлеба. Были придуманы винтовые прессы, развивалось стеклодувное дело и строительство печей; определенные успехи были достигнуты также в селекции зерновых, ботанике и орошении.²³ Ни о какой простой и окончательной остановке развития техники в классическом мире не может быть и речи. Но в то же время не было сделано кластера значительных изобретений, который способствовал бы переходу античной экономики к качественно новым производительным силам. При сравнительном взгляде в прошлом более всего поражает общий технологический застой античности.²⁴ Достаточно сравнить достижения восьми веков, начиная от возвышения Афин до падения Рима, с таким же промежутком времени для феодального способа производства, сменившего его, чтобы ощутить разницу между статичной и динамичной экономикой. В самом же классическом мире еще больше поражает контраст между богатством его культуры и надстройкой и бедностью его базиса – ручная технология древности была со-

²³ См. особ.: F. Kiechle, *Skavlenarbeit und Technischer Fortschritt Im römischen Reich*, Wiesbaden 1969, p. 11–114; L. A. Moritz, *Grain-Mills and Flour In Classical Antiquity*, Oxford 1958; K. D. White, *Roman Farming*, London 1970, p. 113–114, 147–172, 188–191, 260–261, 452.

²⁴ Общая проблема была четко поставлена, как всегда, Финли: Finley, ‘Technical Innovation and Economic Progress In the Ancient World’, *Economic History Review*, XVIII, No. 1, 1955, p. 29–45. О Римской империи см.: F. W. Walbank, *The Awful Revolution*, Liverpool 1969, p. 40–41, 46–47, 108–110.

вершенно примитивной не только по меркам последующей истории, но и, прежде всего, по меркам собственных интеллектуальных достижений классической древности, которые в наиболее важных отношениях намного превосходили достижения Средневековья. Нет никаких сомнений в том, что такая необычайная диспропорция была обусловлена именно структурой рабовладельческой экономики. Аристотель, величайший и наиболее показательный мыслитель античности, сжато изложил ее социальный принцип в своем замечании: «Наилучшее государство не даст ремесленнику гражданских прав, ибо ручным трудом сейчас занимаются в основном рабы и иноземцы».²⁵ Такое государство было идеалом рабовладельческого способа производства, который не был полностью претворен в жизнь ни в одной реальной общественной системе Древнего мира. Но его логика всегда имманентно присутствовала в природе классических экономик.

Как только физический труд стал ассоциироваться с утратой свободы, исчезли все возможные социальные основания для изобретения. Отсутствие развития техники оказывало влияние на рабство, и это не было просто следствием низкой средней производительности самого рабского труда или даже объема его использования – оно незаметно сказывалось на всех формах труда. Маркс попытался описать воздействие, которое оно оказывало, в своей знаменитой, хотя

²⁵ Аристотель, *Политика*, III, IV, 2.

и загадочной теоретической формуле: «Каждая форма общества имеет определенное производство, которое определяет место и влияние всех остальных производств, и отношения которого поэтому точно так же определяют место и влияние всех остальных отношений. Это – то общее освещение, в сферу действия которого попали все другие цвета и которое модифицирует их в их особенностях».²⁶ У самих сельскохозяйственных рабов, как только надсмотр над ними ослабевал, по понятным причинам было мало стимулов для полноценного и добросовестного выполнения своих экономических обязанностей; наиболее удобно использовать их было в работах на небольших виноградниках или в оливковых рощах. С другой стороны, многие рабы-ремесленники и земледельцы часто обладали выдающимися умениями и навыками, конечно, в рамках господствующей технологии. Структурные ограничения, которые накладывало рабство на технологии, таким образом, связаны не столько с прямой внутриэкономической причинностью, хотя и она имела немаловажное значение, сколько с опосредующей социальной идеологией, которая охватывала тотальность физического труда в классическом мире, ставя на наемный и даже независимый труд клеймо унижения.²⁷ Труд рабов в це-

²⁶ К. Маркс, Ф. Энгельс, *Сочинения*, 2-е изд., т. 46, ч. II, с. 43.

²⁷ Финли отмечает, что греческий термин *penia*, обычно противопоставлявшийся *ploutos* как «бедность» «богатству», на самом деле имел более широкое пейоративное значение «рутины» или «вынужденного и изматывающего труда» и мог применяться даже к преуспевающим небольшим собственникам, на труд

лом не был менее производительным, чем труд свободных, а иногда был и более производителен, но он задавал темп обоих видов труда, так что между ними не было серьезных различий в общем экономическом пространстве, которое исключало применение культуры к технике для изобретений. Оторванность материального труда от сферы свободы была настолько значительной, что в греческом языке даже не было слова для выражения идеи труда как социальной функции или личной деятельности. И сельскохозяйственный, и ремесленный труд обычно считались «приспособлением» к природе, а не преобразованием ее; они были формами обслуживания. Платон полностью исключал ремесленников из полиса, так как для него «труд остается чуждым всякому человеческому достоинству и в каком-то смысле кажется даже противоположным тому, что составляет сущность человека».²⁸ Техника как продуманное, прогрессивное применение

которых падала та же культурная тень: M. I. Finley, *The Ancient Economy*, London 1973, p. 41.

²⁸ J. P. Vernant, *Mythe et Pensée chez les Grecs*, Paris 1965, p. 191, 197–199, 217. В двух статьях Вернана – «Прометей и функция техники» и «Труд и природа в Древней Греции» – предложен тонкий анализ различий между *poiesis* и *praxis* и отношениями земледельца, ремесленника и ростовщика к полису. Александр Койре пытался показать, что технический застой греческой цивилизации был связан не с рабовладением или обезцениванием труда, а с отсутствием экспериментальной физики, которая применяла бы математические измерения к земному миру: Alexandre Koyré, 'Du Monde de l'À Peu Près à l'Univers de la Précision', *Critique*, September 1948, p. 806–808. Этим он явно старался избежать социологического объяснения феномена. Но, как он сам имплицитно признал в другом месте, Средние века тоже не знали физики, но все же создали динамичную тех-

ние человеком орудий труда к природному миру была несовместима с ассимиляцией людей этому миру в качестве «говорящих орудий». Производительность сдерживалась непрерывной рутинной *Instrumentum vocalis*, которая обесценивала весь труд, исключая сколько-нибудь серьезный интерес к средствам его экономии. Типичной формой экспансии в античности для всякого данного государства всегда была экспансия «вширь» – географическое завоевание, а не экономический прогресс. Поэтому классическая цивилизация была *колониальной* по своему характеру: «клетки» городов-государств неизменно воспроизводили себя – на этапах подъема – путем основания новых поселений и ведения войн. Грабеж, получение дани и захват рабов были основными целями и средствами колониальной экспансии. Военная сила была связана с экономическим ростом теснее, чем, возможно, в любом другом предшествующем или последующем способе производства, потому что главным источником рабской рабочей силы, как правило, были пленники, а создание свободных городских войск для ведения войн зависело от поддержания рабовладельческого производства; поля сражений поставляли рабочую силу для сельскохозяйственных полей, и наоборот – пленные позволяли создавать армии граждан. В классической античности можно проследить три больших цикла имперской экспансии, последовательные и различные

нологию: дело было не в развитии науки, а в производственных отношениях, которые определяли судьбу техники.

черты которых определяли общее развитие греко-римского мира: афинский, македонский и римский. Каждый из них предлагал определенное решение политических и организационных проблем, связанных с завоеваниями, которое принималось и преодолевалось следующим, никогда не ставя, однако, под угрозу основы общей городской цивилизации.

2. Греция

Греческие города-государства появились в Эгейской зоне еще до классической эпохи, но на основе имеющихся неписьменных источников о них можно говорить только в самых общих чертах. После краха микенской цивилизации около 1200 года до н. э. Греция переживала продолжительный период «темных веков», когда грамотность исчезла, а экономическая и политическая жизнь свелась к зачаточной стадии домохозяйства; этот примитивный деревенский мир описан в гомеровском эпосе. Затем наступила эпоха архаической Греции, продлившаяся с 800 по 500 год до н. э., когда произошла постепенная кристаллизация городского устройства классической цивилизации. Незадолго до появления исторических записей местные цари были свергнуты племенными аристократиями, и именно при власти этой знати были основаны или получили свое развитие города. Аристократическое правление в архаической Греции совпало с возрождением торговли на большие расстояния (главным образом

с Сирией и Востоком), первым появлением чеканной монеты (изобретенной в Лидии в VII веке) и созданием алфавитного письма (заимствованного у Финикии). Урбанизация неуклонно прогрессировала, распространяясь все дальше в Средиземноморье и Причерноморье, и к окончанию периода колонизации в середине VI века в самой Греции и за ее пределами было уже примерно 1500 греческих городов, причем практически ни один из них не отстоял от береговой линии дальше, чем на 25 миль. Эти города были, в сущности, местом сосредоточения земледельцев и землевладельцев – в типичных небольших городах той эпохи земледельцы проживали в пределах города, каждый день выходя работать в поле и возвращаясь вечером; кроме того, в города входила сельская округа с проживавшим в ней постоянно сельским населением. Социальная организация этих городов во многом была отражением племенного прошлого, из которого они выросли – их внутренняя структура четко определялась наследственными объединениями, родовая номенклатура которых отражала перенос в города традиционного сельского деления. Так, жители городов обычно организовывались в порядке убывания размера и открытости – в «племена», «фратрии» и «кланы». «Кланы» были закрытыми аристократическими группами, а «фратрии», возможно, – их первоначальной клиентелой.²⁹ Нам мало известно о формальном политическом устройстве греческих городов архаи-

²⁹ A. Andrewes, *Greek Society*, London 1967, p. 76–82.

ческой эпохи, поскольку, в отличие от Рима, оно не сохранилось в классическую эпоху; но, очевидно, это устройство основывалось на привилегированном правлении наследственной знати остальным городским населением, обычно осуществлявшемся посредством закрытого аристократического совета.

Разрыв с этим общим порядком произошел в последнем столетии архаической эпохи с наступлением эпохи «тиранов» (около 650–510 гг. до н. э.). Эти диктаторы порвали с господством в городах наследственных аристократий. Они представляли новых землевладельцев и новое богатство, накопленное во время экономического роста предшествующей эпохи, и в своей власти в намного большей степени опирались на уступки непривилегированной массе горожан. Тирании VI века на деле были важным этапом при переходе к классическому полису, поскольку именно в эпоху их преобладания были заложены экономические и военные основы классической греческой цивилизации. Тираны были продуктом двоякого процесса, разворачивавшегося в греческих городах поздней архаической эпохи. Появление чеканки монеты и распространение денежной экономики сопровождалось быстрым ростом общей численности населения и торговли Греции. Волна заморской колонизации VIII–VI веков была наиболее очевидным выражением этого развития; в то же время более высокая производительность вина и оливкового масла по сравнению с тогдашним зерновым производством,

возможно, обеспечила Греции сравнительное преимущество в торговом обмене в зоне Средиземноморья.³⁰ Экономические возможности, которые открылись благодаря этому росту, привели к появлению страты новых богатых сельскохозяйственных собственников, не связанных с традиционной знатью и в некоторых случаях, возможно, получавших прибыль от вспомогательных торговых предприятий. Новое богатство этой группы никак не сказывалось на распределении власти в городе. В то же время увеличение численности населения и рост и распад архаической экономики вызвали острую социальную напряженность среди беднейшего класса земледельцев, постоянно находившихся под угрозой впасть в полную нищету и зависимость от знатных землевладельцев, и породили новые трения и противоречия.³¹ Одновременное давление недовольного крестьянства снизу и новых богачей сверху сломало систему правления в городах узкого круга аристократии. Специфическим итогом политических потрясений в городах стало появление переходных режимов тирании конца VII–VI веков. Сами тираны обычно были обладавшими большим богатством выходцами из низов, а их личная власть символизировала получение социальной группой, из которой они вышли, почета и поло-

³⁰ См.: William McNeill, *The Rise of the West*, Chicago 1963, p. 201, 273.

³¹ О новом экономическом росте на селе см.: W. G. Forrest, *The Emergence of Greek Democracy*, London 1966, p. 55, 150–156; о социальной подавленности класса мелких земледельцев см.: A. Andrewes, *The Greek Tyrants*, London 1956, p. 80–81.

жения в городе. Но их победа была возможна только благодаря использованию ими глубокого недовольства бедных, а их самым важным достижением были экономические реформы в интересах народных классов, которые им пришлось провести или с которыми им пришлось смириться ради сохранения собственной власти. Тираны, вступившие в борьбу с традиционной знатью, объективно заблокировали монополизацию сельскохозяйственной собственности, к которой могло привести неограниченное правление знати и которая могла вызвать дальнейший рост социального угнетения в архаической Греции. За исключением единственной не имевшей выхода к морю области, равнины Фессалии, в эту эпоху небольшие крестьянские хозяйства по всей Греции смогли не просто сохраниться, но и окрепнуть. Различные формы, в которых происходил этот процесс, принимая во внимание нехватку письменных свидетельств из доклассической эпохи, приходится реконструировать в основном на основании его более поздних последствий. Первое крупное восстание против господства аристократии, которое при поддержке низших классов привело к успешному установлению тирании, произошло в Коринфе в середине vii века, где семья Бакхиадов лишилась традиционной власти над городом, который был одним из наиболее ранних и процветающих торговых центров в Греции. Но наиболее ясным и подробно описанным примером того, что, возможно, было чем-то вроде общей закономерности того времени служат, конечно, ре-

формы Солон в Афинах. Солон, который сам не был тираном, был облачен высшей властью, чтобы положить конец серьезной социальной борьбе между богатыми и бедными, разразившейся в Аттике на рубеже VI века. Его главным шагом была отмена долговой зависимости, вследствие которой мелкие земледельцы становились жертвами крупных землевладельцев и превращались в зависимых арендаторов, а арендаторы попадали в кабалу и личную зависимость к аристократическим собственникам.³² В результате рост владений знати был остановлен, и произошла стабилизация небольших и средних хозяйств, которые с тех пор стали определяющей чертой сельской местности в Аттике.

Этот экономический порядок сопровождался новым распределением политического влияния. Солон лишил знать ее монополии на власть, разделив население Афин в зависимости от дохода на четыре класса: первые два получили доступ к высшим административным должностям, третий – к более низким, а четвертый – и последний – к голосованию на собрании граждан, которое отныне стало созываться регулярно. Такое устройство просуществовало недолго. В последующие тридцать лет Афины с созданием городской валюты и распространением местной торговли пережили быст-

³² Неясно, были ли до реформ Солон бедные земледельцы в Аттике арендаторами или собственниками своих земель. Эндрюс утверждает, что они могли быть арендаторами (Andrewes, *Greek Society*, p. 106–107), но последующие поколения не сохранили воспоминаний о том, что при Солоне произошло действительное перераспределение земель, так что это кажется маловероятным.

рый экономический рост. Социальные конфликты между гражданами вспыхнули с новой силой, достигнув наивысшей точки в захвате власти тираном Писистратом. Именно при этом правителе произошло окончательное оформление афинской общественной формации. Писистрат поддерживал программу строительства, которая обеспечила занятость городским ремесленникам и чернорабочим, и установил свой контроль над стремительным развитием морских путей из Пирея. Но, прежде всего, он оказывал прямую финансовую помощь афинским земледельцам в виде общественных кредитов, которые в конечном итоге обеспечили их автономию и безопасность накануне появления классического полиса.³³ Выживание мелких и средних земледельцев было гарантировано. Этот экономический процесс, отсутствие которого позднее определило совершенно иную социальную историю Рима, по-видимому, происходил по всей Греции, хотя никаких иных описаний этих событий, кроме афинских, не имеется. В других местах средний размер землевладений иногда мог быть и больше, но крупные аристократические имения были только в Фессалии. Экономической основой существования греков являлась небольшая аграрная собственность. Вместе с этим социальным успокоением в эпоху тиранов произошли существенные изменения в военной органи-

³³ О том, что политика Писистрата для экономической независимости земледельцев Аттики была важнее реформ Солона, см.: M. I. Finley, *The Ancient Greeks*, London 1963, p. 33.

зации городов. Армии отныне состояли в основном из гоплитов, тяжеловооруженных пехотинцев – новшество, которым средиземноморский мир обязан грекам. Каждый гоплит покупал себе оружие и доспехи за свой счет, таким образом, эти воины должны были обладать достаточными средствами, и гоплитское войско всегда состояло из проживавших в городах средних землевладельцев. Свидетельством его военной эффективности стали впечатляющие победы греков над персами в следующем столетии. Но наибольшее значение в конечном итоге имело положение гоплитов в политической структуре городов-государств. Вооружавшие сами себя граждане-воины послужили предпосылкой более поздней греческой «демократии» или расширенной «олигархии».

Спарта была первым городом-государством, воплотившим в своем устройстве социальные результаты гоплитской войны. Ее развитие является своеобразным вариантом развития Афин в доклассическую эпоху. Дело в том, что в Спарте не было тирании, и отсутствие этого нормального переходного этапа сказалось впоследствии на ее экономических и политических институтах, особым образом сочетавших в себе передовые и архаические черты. За короткий промежуток времени Спарта завоевала сравнительно большие области на Пелопоннесе, сначала на востоке в Лаконии, а затем на западе в Мессении, поработив значительную часть жителей обеих областей, которые стали государственными «ило-тами». Это расширение территории и социальное порабоще-

ние соседнего населения были достигнуты при монархическом правлении. Но в течение VII века – или после первоначального завоевания Мессении, или после последующего подавления мессенского восстания, и вследствие их – в спартанском обществе произошли радикальные перемены, традиционно связываемые с мифической фигурой реформатора Ликурга. Согласно греческой легенде, земля была разделена на равные части, которые были распределены между спартанцами в виде *kleroi* или наделов, возделываемых принадлежавшими государству илотами. Эти «древние» держания позднее стали считаться неотчуждаемыми, в то время как другие, купленные позже, участки земли считались личной собственностью, которую можно было покупать или продавать.³⁴ Каждый гражданин обязан был вносить фиксированный вклад в натуральном виде для проведения совместных трапез – сисситий, поварами и прислугой на которых были илоты: тот, кто был неспособен внести его, автоматически терял гражданство и становился своеобразным «гражданином второго сорта», беда, во избежание которой, возможно, и было введено владение неотчуждаемыми наделами. Результатом этой системы было создание прочной сплоченности среди спартанцев, которые гордо называли себя *hoi homoioi* – «равные», хотя полного экономического равенства

³⁴ Реальность первоначального раздела земли или даже более поздней неотчуждаемости наделов вызывает сомнения; см., напр.: А. Н. М. Jones, *Sparta*, Oxford 1967, p. 40–43. Более осторожную точку зрения, согласующуюся с представлениями греков, см. в: Andrewes, *Greek Society*, p. 94–95.

среди граждан Спарты никогда не существовало.³⁵ Политическая система, возникшая на основе клеров, также была новой для своего времени. В отличие от других греческих городов, монархия здесь так до конца никогда и не исчезла, но она была сведена к наследственному праву командования войсками и ограничивалась совместным правлением представителей двух царских домов.³⁶ Во всех остальных отношениях спартанские «цари» были простыми членами аристократии, не имевшими особых привилегий в совете из тридцати старейшин или *герусии*, которая изначально правила городом – типичный конфликт ранней архаической эпохи между монархией и знатью здесь был разрешен институциональным компромиссом между ними. Но в VII веке рядовые граждане образовали полноценное городское собрание, которому совет старейшин, сам ставший избираемым органом, передал право решения политических вопросов; в то же время пять годовых магистратов или эфоров наделялись высшей исполнительной властью путем прямых выборов, в которых принимали участие все граждане. Герусия могла наложить вето на решение собрания, и эфоры были наделены необычайно большой самостоятельной властью. Но спартанская конституция, которая кристаллизовалась в доклас-

³⁵ Вопрос о размере наделов, поддерживавших социальную сплоченность спартанцев, вызвал широкие споры. По различным оценкам, он составлял от 20 до 90 акров пахотных земель; см.: P. Oliva, *Sparta and Her Social Problems*, Amsterdam-Prague 1971, p. 51–52.

³⁶ О конституционном устройстве Спарты см.: Jones, *Sparta*, p. 13–43.

сическую эпоху, в социальном отношении была тем не менее самой передовой для своего времени. В ней впервые в Греции гоплиты действительно стали обладать правом голоса.³⁷ Ее введение часто связывается с новой ролью тяжело-вооруженной пехоты в завоевании или порабощении жителей Мессении; и после этого Спарта, конечно, всегда славилась невероятной дисциплиной и отвагой своего гоплитского войска. Необычайные военные достоинства спартанцев, в свою очередь, были следствием повсеместно распространенного илотского труда, который освобождал граждан от какого-либо участия в производстве, позволяя им заниматься исключительно подготовкой к войне, не отвлекаясь ни на что другое. В результате сложился корпус из 8000–9000 спартанских граждан, экономически самостоятельных и политически полноправных, который был намного более широким и эгалитарным, чем любая современная аристократия или более поздняя олигархия в Греции. Крайний консерватизм спартанской общественной формации и политической системы в классическую эпоху, благодаря которым к V веку она стала казаться отсталой, на самом деле была продуктом успеха ее передовых преобразований в VII веке. Греческое государство, первым пришедшее к гоплитской конституции, последним изменило ее – устройство архаической эпохи сохранялось в основных чертах вплоть до окончательного падения Спарты пять веков спустя.

³⁷ Andrewes, *The Greek Tyrants*, p. 75–76.

В других местах, как было отмечено ранее, греческие города-государства шли к своей классической форме более медленно. Тирания обычно служила необходимым промежуточным этапом развития: ее аграрные законы или военные нововведения подготовили греческий полис V века. Но для появления классической греческой цивилизации нужно было еще одно важное нововведение. Речь, конечно же, идет о введении масштабного рабства. Сохранение мелкой и средней собственности на землю разрешило социальный кризис в Аттике и не только в ней. Но само по себе оно лишь удерживало политическое и культурное развитие греческой цивилизации на «беотийском» уровне, препятствуя появлению более сложного социального разделения труда и городской надстройки. Относительно эгалитарные крестьянские общества физически могли сосредоточиться в городах; но в своем простом состоянии они никогда бы не смогли создать ту блистательную городскую цивилизацию, которую теперь впервые должна была продемонстрировать античность. Для этого был необходим широкий прибавочный труд рабов, позволявший освободить правящую страту для создания нового гражданского и интеллектуального мира. «Вообще говоря, рабство лежало в основе греческой цивилизации в том смысле, что его отмена и замена свободным трудом, если бы кто-то попытался сделать это, стала бы потрясением для всего общества и лишила бы высшие классы Афин и Спарты их

свободного времени». ³⁸

Поэтому не случайно, что за спасением независимых земледельцев и отменой долговой кабалы вскоре последовал стремительный рост использования труда рабов и в городах, и в сельской местности классической Греции. И как только в греческих общинах произошло блокирование крайностей социальной поляризации, логичным решением нехватки рабочей силы для господствующего класса стало обращение к поставкам рабов. Цена рабов – в основном фракийцев, фригийцев и сирийцев – была крайне низкой, немногим превышавшей стоимость их годового содержания; ³⁹ поэтому их использование распространилось по всему греческому обществу – ими смогли владеть часто даже самые скромные ремесленники или мелкие земледельцы. Первым образчиком такого экономического развития также послужила Спарта; ведь именно предшествующее создание массы илотов, занятых сельскохозяйственным трудом в Лаконии и Мессении, позволило появиться сплоченному братству спартанцев. Появление первого многочисленного рабского населения в доклассической Греции и достижение гоплитами гражданских свобод и прав – две стороны одного и того же процесса. Но в этом, как и в других случаях, спартанское первенство сдер-

³⁸ Andrewes, *Greek Society*, p. 133. Ср.: V. Ehrenburg, *The Greek State*, London 1969, p. 96: «Без метеков или рабов существование полиса едва ли было бы возможно».

³⁹ Andrewes, *Greek Society*, p. 135.

живало дальнейшее развитие: илотия оставалась «неразвитой формой» рабства,⁴⁰ поскольку илотов нельзя было покупать, продавать или освобождать и поскольку они были коллективной, а не индивидуальной собственностью. Полноценное товарное рабство, определявшееся рыночным обменом, было введено в городах-государствах Греции, соперничающих со Спартой. К V веку, расцвету классического полиса, Афины, Коринф, Эгина и практически все остальные крупные города имели огромное рабское население, нередко превосходившее по численности свободное население. Именно введение этой рабовладельческой экономики – в горном деле, сельском хозяйстве и ремесле – сделало возможным внезапный расцвет греческой городской цивилизации. Естественно, последствия этого, как было отмечено ранее, были не только экономическими. «Рабство, конечно, было не просто экономической необходимостью; оно было жизненно важно для всей социальной и политической жизни граждан».⁴¹ Классический полис основывался на новом концептуальном открытии свободы, сопровождавшимся систематическим насаждением рабства – свобода гражданина, в том числе и свобода от труда, теперь могла быть противопоставлена рабству и труду. Первые «демократические» институты в классической Греции появились в Хиосе в середине VI

⁴⁰ Oliva, *Sparta and Her Social Problems*, p. 43–44. Илоты также имели свои собственные семьи и иногда использовались для военных нужд.

⁴¹ Victor Ehrenburg, *The Greek State*, p. 97.

века, и именно Хиос считается первым греческим городом, который приступил к масштабному ввозу рабов с варварского Востока.⁴² В Афинах после реформ Солона в эпоху тирании произошел резкий рост численности рабского населения; а вслед за этим была введена новая конституция, разработанная Клисфеном, которая отменила традиционное племенное деление, позволявшее поддерживать отношения аристократической клиентелы, реорганизовала население в территориальные «демы» и ввела избрание по жребию в расширенный совет пятисот для контроля над делами города в сочетании с народным собранием. В V веке в греческих городах-государствах наблюдалось распространение политической формулы «предварительного обсуждения»: небольшой совет предлагал публичные решения более широкому собранию, которое голосовало за них, не имея права инициативы (хотя в более демократических государствах собрание позднее получило такое право). Различия в составе совета и собрания и в системе выборов магистратов государства, которые осуществляли управление им, определяли относительную степень «демократии» или «олигархии» в пределах каждого полиса. Спартанская система, в которой господствовали эфоры, воспринималась как противоположность афинской системе, властью в которой обладало общее собрание граждан. Но главная разделительная линия проходила не внутри граждан полиса, организованного или стратифицирован-

⁴² Finley, *The Ancient Greeks*, p. 36.

ного тем или иным образом. Она отделяла граждан – 8000 спартанцев или 45 000 афинян – от неграждан и несвободных, над которыми они возвышались. Община классического полиса, несмотря на свое внутреннее классовое разделение, возвышалась над поработанной рабочей силой, которая определяла его форму и сущность.

Эти города-государства классической Греции постоянно соперничали и боролись друг с другом. Распространенной формой экспансии после завершения процесса колонизации в конце VI века было военное завоевание и получение дани. С изгнанием персидских войск из Греции в начале V века Афины постепенно стали самым сильным среди соперничающих городов Эгейского бассейна. Афинская империя, построенная поколением от Фемистокла до Перикла, казалось, обещала политическое объединение Греции под властью одного полиса (или несла в себе угрозу такого объединения). Ее материальной основой служило особое положение самих Афин, наиболее крупного в территориальном и демографическом отношении греческого города-государства, хотя и занимавшего по площади всего около 1000 квадратных миль и имевшего, возможно, до 250.000 человек населения. Аграрная система Аттики была типичной для своего времени (и возможно, наиболее ярким образцом общегреческой). По греческим меркам, крупным землевладением было имение площадью 100–200 акров.⁴³ В Аттике было не слишком

⁴³ Forrest, *The Emergence of Greek Democracy*, p. 46.

много крупных имений, и даже состоятельные землевладельцы имели не сконцентрированные латифундии, а множество небольших хозяйств. Владения площадью в 70 или даже в 45 акров считались выше среднего, а самые маленькие участки, по-видимому, были немногим больше 5 акров. К концу V века три четверти свободного населения имело свои земельные участки.⁴⁴ Рабы служили прислугой, работали на полях, обычно возделывая земли богатых, и занимались ремесленным трудом; численно свободные работники в сельском хозяйстве и, возможно, в ремеслах, по-видимому, превосходили рабов, но рабы в целом составляли намного более многочисленную группу, чем граждане. В V веке в Афинах, очевидно, было около 80.000–100.000 рабов и 30.000–40.000 граждан.⁴⁵ Треть свободного населения жила в самом городе. Большая часть остальных проживала в сельской местности неподалеку от города. Большинство граждан в соотношении 1:2 составляли классы «гоплитов» и «фетов»; последние были беднейшей частью населения, неспособной экипировать себя для службы в тяжеловооруженной пехоте. Разделение между гоплитами и фетами зависело от дохода, а не от рода занятий или места жительства: гоплиты могли быть городскими ремесленниками, а половина фетов, очевидно, были бедными крестьянами. Над этими двумя рядовыми клас-

⁴⁴ M. I. Finley, *Studies In Land and Credit In Ancient Athens 500–200 B. C.*, New Brunswick, p. 58–59.

⁴⁵ Westermann, *The Slave Systems of Greek and Roman Antiquity*, p. 9.

сами возвышались два не столь многочисленных сословия более богатых горожан, элита которых составляла верхушку афинского общества из примерно 300 семей.⁴⁶ Эта социальная структура с ее признанной стратификацией, но отсутствием глубоких расколов в массе граждан, составляла основу афинской политической демократии.

К середине V века совет пятисот, следивший за отправлением власти в Афинах, набирался из всех граждан по жребию во избежание преобладания аристократии и клиентелизма на выборах. Единственными крупными избираемыми должностями в государстве были десять военачальников, которые, как правило, были выходцами из верхней городской страты. Совет больше не предлагал спорных решений собранию граждан, которое к этому времени сосредоточило в себе весь суверенитет и политическую инициативу, занимаясь простой подготовкой программы для него и ставя перед ним ключевые вопросы, требующие решения. Собрание проводило минимум 40 заседаний в год, на которые обычно являлись никак не меньше 5000 граждан, так как кворум в 6000 человек был необходим для обсуждения даже самых рядовых вопросов. На нем обсуждались и разрешались все важные политические вопросы. Судебная система, которая обрамляла законодательный центр полиса, состояла из заседателей, избираемых по жребию из населения и получавших, как и члены совета, плату за исполнение своих обязан-

⁴⁶ А. Н. М. Jones, *Athenian Democracy*, Oxford 1957, p. 79–91.

ностей, что позволяло беднякам принимать участие в судопроизводстве. В IV веке этот принцип был распространен и на работу самого собрания. Никакого постоянного бюрократического аппарата не существовало; административные должности распределялись по жребию среди участников собрания, а немногочисленная полиция состояла из скифских рабов. На практике, конечно, прямая народная демократия афинской конституции размывалась неформальным господством над собранием профессиональных политиков, набравшихся из традиционно богатых и знатных городских семей (или – позднее – из новых богатых). Но это социальное доминирование никогда не было юридически установленным или закрепленным и всегда могло быть подорвано и оспорено вследствие самой природы афинской политики, основанной на гражданском равенстве и прямой демократии. Противоречие между этими двумя моментами лежало в основе структуры афинского полиса и находило поразительное отражение в единодушном осуждении беспрецедентной демократии города мыслителями, олицетворявшими его беспримерную культуру – Фукидидом, Сократом, Платоном, Аристотелем, Исократом или Ксенофонтом. Афины так никогда и не создали никакой демократической теории – практически все выдающиеся аттические философы или историки придерживались олигархических убеждений.⁴⁷ Аристо-

⁴⁷ Джонс описывает этот разрыв, но не замечает его роли в структуре афинской цивилизации в целом, ограничиваясь защитой полисной демократии от город-

тель предложил наиболее полное выражение этой точки зрения в своем решительном требовании исключения из идеального государства всех, кто занимается физическим трудом.⁴⁸ Рабовладельческий способ производства, поддерживавший афинскую цивилизацию, естественно, находил свое наиболее чистое идеологическое выражение в привилегированной социальной страте города, интеллектуальные достижения которой покоились на прибавочном труде, создавшемся молчащими низами, служившими основанием полиса.

ских мыслителей: Jones, *Athenian Democracy*, p. 41–72.

⁴⁸ *Политика*, III, IV, 2, см. выше.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.